



АЛЕКСАНДР
СНЕГИРЁВ

В Е Р А

Я ПИШУ

ТОЛЬКО

О ЛЮБВИ

И БОЛИ

SHORT-LIST ПРЕМИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР»

Александр Снегирёв

Вера

«ЭКСМО»

2015

УДК 821.161-1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Снегирёв А.

Вера / А. Снегирёв — «Эксмо», 2015

В центре повествования – судьба Веры, типичная для большинства российских женщин, пытающихся найти свое счастье среди измельчавшего мужского племени. Избранники ее – один другого хуже. А потребность стать матерью сильнее с каждым днем. Может ли не сломаться Вера под натиском жестоких обстоятельств? Может ли выжить Красота в агрессивной среде? Как сложится судьба Веры и есть ли вообще в России место женщине по имени Вера?.. Роман-метафора А. Снегирёва ставит перед нами актуальные вопросы.

УДК 821.161-1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Снегирёв А., 2015
© Эксмо, 2015

Содержание

Пролог	5
Часть 1	6
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Александр Снегирёв

Вера

Пролог

Все началось в декабре одна тысяча девятьсот тридцать седьмого года, когда Верин дед прочитал в «Правде» стихотворение Сулеймана Стальского и решил назвать первенца в честь великого лезгинского поэта.

Катерина, в те дни уже его законная, замуж не хотела. Бегала топиться, но бабка выудила и отконвоировала под венец. Мужик дурковатый, зато с избой.

Дело происходило в одной западной русской области, в деревне Ягодка, которая сегодня переживает возрождение. Дома отстроены заново с применением современных материалов, в русле актуальных санитарно-бытовых потребностей. Дорога, правда, по-прежнему неважная, но дорог в этой местности не было никогда: ни при барине, ни при колхозе, ни даже при немцах.

Коряги древних яблонь кое-где еще торчат из газонов, точно старухи, приглядывающие за детками – новыми жителями. Газоны пока несовершенны: или чересчур плоски, или, напротив, изрыты кротоми, однако появление в Ягодке этой садовой прихоти столь необычно, что изъяны бросятся в глаза лишь недоброжелателю.

В конце деревни, ближе к лесу – утыканный кувшинками пруд. С одного края пруда церковь, с другого – пустырь. При внимательном изучении снимков со спутника пустырь обнаруживает правильные геометрические очертания – это фундамент барского жилого строения, сгоревшего когда-то по халатности мародерствующих.

Но в спутниковые фотографии никто не всматривается, и новые обитатели Ягодки бывают очень удивлены, когда при сносе очередного сарая под грудями незамысловатого инвентаря обнаруживают то резную, в форме звериной лапы, мебельную ножку, то осколки изящного фарфора, то заплесневелый обрывок живописного холста.

Часть 1

В начале самой страшной войны в истории человечества нелюбимого мужа Катерины призвали. Однако не прошло и месяца, как он, дезертировав из госпиталя при отступлении, вернулся на костыле в еще не занятую неприятелем Ягодку. Катерина не успела понять, рада она вновь обретенному супругу или не очень, как услышала тарахтение моторов улыбчивой мотопехоты пятьдесят седьмого корпуса четвертой танковой армии, входящей в группу «Центр». Председателя при всем народе повесили, а хромой папаша трехлетнего Сулеймана, последний оставшийся в деревне дееспособный мужчина, сопротивления не оказал и был назначен старостой.

Немцы были веселые, угощали шоколадом. Потом настроение у них заметно испортилось, но это потом, а в начале жизнь в Ягодке сделалась яснее. Новые власти поощряли за послушание, наказывали за самодеятельность. Связисты повсюду размотали разноцветные провода, наладили телефонную связь между зданием бывшего сельсовета, сохранившим административные функции, обустроенным в церкви госпиталем и городом. Развесили вывески и согнали баб сровнять бугры на единственной улице, переименованной из «Ленина» в «Кайзерштрассе».

Самая страшная война в истории человечества быстро ушла на восток и напоминала о себе, пожалуй, только непрерывно работающим госпиталем, куда вскоре стали поступать бедолаги из-под Москвы, пострадавшие больше от непригодных климатических условий, чем от огня защитников столицы.

Сулик был типичным ребенком, росшим в оккупации: не тяготился, но ждал своих. А еще ему очень понравилась упорядоченность германского быта. С тех пор он упорядочивал все вокруг и делал это до тех пор, пока вера навсегда не ушла из его жизни.

Прочие жители испытывали нечто подобное – помощи новым хозяевам не оказывали, но и сопротивления тоже. Молодежь, наверное бы, рыпалась, но молодежи не было – парней мобилизовали в Красную армию, девки сплошь были малолетние, бабы помалкивали, а старики принимали все, как есть. Одна Лукерья, чьих сыновей-кулаков безвозвратно арестовала советская власть, Лукерья, которая тянула на себе внучку Зинку, не стеснялась проявлять позицию – крестила закатные небеса, когда воздушные армии запада прокладывали золотые лыжни в сторону востока.

За два с лишним года службы врагу муж Катерины ничего антинародного на своем посту не предпринял. Родилась дочка. Назвали без выкрутасов Раечкой, может, потому, что «Правда» в те годы была недоступна. Точнее, «Правда» распространялась, но поддельная, с Гитлером на развороте. Такой «Правде» староста не доверял, понимая – она не надолго. Только однажды староста оступился – осенью сорок второго пленили партизан и настояли, чтобы он подписался под расстрельным листом.

И он свои корявые букочки вывел.

Тогда мальчишки подсмотрели, и Сулик был среди них.

И он увидел, как люди превращаются в тела.

В скоропортящиеся отходы.

Увидел, как легко это происходит.

А больше ничего отец не совершил. Он вообще был тихий. Еще молодым, когда церковь разоряли, он к батюшке подступил и пожарным багром слегка пихнул в брюхо. Мол, помогай, борода. И в зубы двинул для аргумента. Батюшка сначала привередничал, а потом вдруг покорился и, отплеываясь красным, будто брусничных пирогов наелся, схватил багор и стал тыкать в росписи, дырять разукрашенную штукатурку. Вскочив на алтарь, он вонзал острие в иконы и драл их крюком. Он опрокинул канун с остатками свечей и оборвал лампы. Он

шуровал с такой отчаянной яростью, так страшно бранился, что вызвал у активистов оторопь и даже испуг, и тогда принудитель его не без труда багор отобрал. С открытой брезгливостью к погромщику и с затаенной к себе. Батюшку вскоре навсегда увезли компетентные товарищи, а будущий отец Сулика после того раза утих. В партию вступать не стал, хоть и выдвигали, увлекся чтением и женился.

Его не оскорбляло, что остановившийся у них на постой германский офицер-фотолюбитель к Катерине благоволит. Танцевать зовет под патефон и без всякого пренебрежения славянский стан обнимает.

На карточках, найденных годом позже в ранце этого самого, к тому времени уже бездыханного, фотографа, есть и ее изображения. Босая, недоверчивый взгляд из-под косынки. Запечатлена за подходящим занятием – ворошит сено.

Болтали про них, а про кого не болтают.

А может, и не зря болтали.

У Катерины даже бумажка, припечатанная страшным круговым крестом, одну ночь хранилась. Фотолюбитель оформил дарственную, вручил Ягодку ей и потомкам. И рукой повел, будто всю Россию отписал.

Наутро Катерина бумажку сожгла.

Вступление освободительного войска осуществилось не только без боя, но и вообще без какого-либо присутствия противника. Большею частью сжатые, поля кое-где еще колосились, хвоя зеленела, пыльная листва сначала пожухла, потом стала опадать. Солнце не светило ярче, погода не бунтовала.

Ягодка одинаково отдавалась каждому новому, не делая различия между пьющими ее воду, мнущими ее траву, оставляющими следы в ее пыли.

Въедливые оперативники, напротив, оказались настроены не столь философически и сразу принялись вычесывать изменников. Соседи в своей народной массе помалкивали, но кто-то выдал.

Четырнадцать заяв, круглыми женскими буквами писанных, следовательно принял.

Это на семнадцать дворов.

Один сожженный партизанский, в другом безымянная слепая бабушка, в третьем старостино семейство.

Двое светлых юношей в синих фуражках пришли, когда Суликов папаша валенки подшивал.

Только ремень велели скинуть.

И похромал тихий староста, будущий Верин дед, на далекие лесозаготовки.

* * *

Скоро маленькая Раечка померла от того же, от чего половина шестой армии фельдмаршала Паулюса.

Дизентерия.

Голодали сильно.

Братья Катерины, ступив на боевой путь в самом начале, дошли по нему аж до Валгаллы, которую, небось, у немчуры и оттапали.

Соседи стали мать с сыном дразнить фашистами. Сулик начал киснуть, замкнулся, сжег дареный фотолюбителем противогаз, фляжку бросил в реку, но она не утонула, а поплыла, как не тонуло, выныривало его одиночество, как не тонула тяга к порядку и разноцветным проводам.

Будучи мальчиком отверженным, он в редкие минуты деревенского досуга бродил по разгромленным, пахнущим медикаментами помещениям церкви-госпиталя, неподалеку от кото-

рой, рядом со старым кладбищем, из земли выступали холмики умерших от ран. Сначала в них были натканы аккуратные крестики, но их пожгли. И остались одни холмики, которые быстро зарастали.

Скоро пошел слух, что в гробах сокровища.

И стар и млад принялись холмики потрошить и косточки просеивать.

И нашли.

Сашка перстенок содрал вместе с ошметками и на внутренней стороне надпись разобрал – Edvin und Linda.

В райцентре сказали «серебро» и три буханки дали.

Сергевна сапоги почти неношенные с подгнивших конечностей стащила.

А Колька нашел наградной кортик, которым пощекотал Олежку.

Не до смерти, конечно.

Сулика отгоняли, кидали комьями. Ему доставались только объедки этого археологического пиршества – без всякой надежды он осматривал гробы уже вскрытые.

Однажды внимание привлек разъехавшийся, недоукомплектованный скелет. Из четырех положенных конечностей он имел лишь одну – левую руку.

Пнув со злости, от скуки и просто забавы ради эти жалкие останки, Сулик увидел в серой трухе лицевых тканей блеск.

И упал коршуном.

Не тронутый санитаром, по невероятной случайности пропущенный односельчанами, пасть мертвеца озарял золотой, задний нижний зуб, именуемый дантистами моляр.

Сулик вышиб находку доской, спрятал в гильзу, запечатал глиной и, не сообщив матери, зарыл под задним венцом.

С тех пор каждый раз, когда представлялась возможность, он раскапывал жевательную принадлежность из драгмета и не мог насмотреться на мятый, льющийся, тяжеленький блеск.

* * *

Когда сообщили, что Первый Председатель Совета министров скончался, Катерина велела Сулику надеть на себя все, что потеплее, и двигать за ней в сторону Колонного зала Дома союзов.

Шли не торопясь, заночевали у стрелочницы и всего успели преодолеть километров тридцать, когда их настигло известие – бальзамирование завершилось, тело выложено в Мавзолею.

Облегченно вздохнув, Катерина повернула обратно.

В Ягодке самоволку оценили. Одна только Катерина проявила рвение такой силы, осмелилась без разрешения покинуть колхоз и отправиться пешком проститься с любимым вождем. Измену Родине и смутные отношения с врагом не забыли, но злобное шипение поутихло, лай превратился в тьяканье.

По исполнении Сулику четырнадцати Катерина свезла его в интернат.

Вверила государству в связи с недостатком корма.

Они и в самом деле недоедали, но не это подтолкнуло Катерину к решительному шагу. Она знала – после армии паспорт Сулика вернут в колхоз, что гарантирует ему неоплачиваемую занятость до конца дней, а интернатовскими документами выдают на руки. Сулик сможет пойти на завод, поступить на вечерний, и Советский Союз распахнет перед ним все свои безграничные возможности.

Катерина была патриоткой, но сыну желала добра.

Годы в интернате пролетели, и Сулика отправили служить на Камчатку, на радиолокационную станцию.

Аэродром – укатанное снежное поле, рота рядовых, офицеры и техники. Двухметровый забор заносило с горкой, и представители коренных народов Севера на собачьих упряжках срезали через территорию.

Когда советская ракета сбила американский самолет-разведчик, начальник занервничал.

Полковник, прошедший самую страшную войну, не был паникером, но бескрайние снега, белые бури и три типа блюд из кеты, которыми в произвольной последовательности кормил повар, растормошили его фантазию.

Услышав о пленении летчика, полковник на некоторое время заперся у себя, а потом собрал весь личный состав на взлетно-посадочном снегу.

Был май, припекало так, что, кинув поверх сугробов полушубок, можно было закрыть глаза и представить Сочи. Но полковнику было не до солнечных ванн, он выступил с краткой речью.

Международная обстановка накалилась до предела. После потери самолета американцы обязательно нанесут ответный удар.

А по кому наносить, как не по нам?

От Аляски рукой подать.

Не сегодня-завтра всплывет подлодка, благо лед встал, высадят десант и..

Тут полковник добавил, что получил секретные сведения.

Сведения и вправду были получены. И не как-нибудь, а по самому секретному из всех возможных каналов – голос Верховного Главнокомандующего, уже семь лет почивающего в Мавзолее, заговорил прямо в голове полковника. Прежде такого не случалось, и ветеран решил прислушаться.

Усиленные патрули, составившие один большой хоровод, днем и ночью кружили вокруг нескольких построек станции. Отраженное от снега солнце нещадно слепило даже сквозь темные очки, многие получили ожоги лица.

Не дождавшись десанта, полковник через неделю отменил осадное положение и сник, а вскоре был отозван и сменен другим, точно таким же, только женатым.

* * *

Неподалеку от станции располагался поселок сезонных женщин-работниц. Поселок состоял из жилого барака, цеха и магазина с неизменным армянским коньяком в ассортименте. Там произошел второй за годы Суликовой службы инцидент.

Продавщица держала курицу, а при бараке обитала кошка. Продуктовый вопрос перед кошкой не стоял, курица же требовала зерна, доставляемого с Большой земли. Неясно, что подтолкнуло кошку к преступлению. Видимо, недостаток и скука, когда чего-то хочется, а чего – не знаешь. Хочется прыгать и размахивать, промчаться голой под громкую музыку в открытом экипаже, лизнуть на морозе железяку и не прилипнуть.

Обнаружив эти вполне человеческие, декадентские свойства, кошка украла курицу.

Продавщица сначала подумала на медведя, потом на приходящего майора.

Осознать несостоятельность этих гипотез ей помогли сладко жмурящиеся глаза и усы в перьях.

Продавщица схватила несчастное существо и принялась трясти.

Сулик находился поблизости, было свободное время, он дышал свежим воздухом.

Сулик видел, как продавщица, перехватив воровку за хвост, стала колотить ею об угол барака, обитого для защиты от ветра распрявленными консервными банками, которых, как и рыбы, было в избытке.

Сулик даже научился резать из распрявленных консервных банок профили.

Очень похоже выходило.

В казарме над каждой койкой к стенке крепился исполненный им силуэт невесты. Новый полковник тоже повесил на видное место свое и супруги жестяные изображения на манер знаменитых профилей герцога Урбинского и Баттисты Сфорца. Любой профиль неприятно напоминал полковнику фотографии из следственного дела, но супруга настояла, и он уважил.

Ослепленный сверкающей жестяной чешуей, Сулик разом вспомнил курносые, носатые, лобастые, кадыкастые жестянки. Он видел – несчастную воровку умертвил первый удар. Продавщица молотила измочаленным лоскутком и никак не могла остановиться.

Вскоре в клубе произошел погром. Неизвестный изорвал бумажные шахматные доски и, что самое крамольное и вместе с тем удивительное, вручную располовинил толстые журналы политинформации.

Многие дивились не столько поступку таинственного психопата, сколько его физической силе. Разорвать журнал плотной бумаги способен не каждый атлет, а проделать это подряд с целой полкой и вовсе невозможно.

Под видом силовых соревнований пытались провернуть следственный эксперимент, выявить злоумышленника, а то и целый заговор. Кто разорвет пачку бумаги, тот и злодей. Однако простодушный план провалился.

* * *

Тем временем Катерина писала Сулику, что отец год как вернулся из Пермского края и устроился в колхозе плотником.

Коллаборационизм ему не забывают, но мужиков-то нет, вот и взяли.

Отец тяжелый стал.

Раньше «Правду» читал, а теперь ничего не читает. Не попивает особо, но трудно с ним.

Демобилизовавшийся Сулик продал грузину на трех вокзалах бидон красной зернистой, приобрел матери пальто с цигейкой и поехал в Ягодку.

Пришел ночью, задами, чтобы не тревожить собак.

Шарик оказался еще живехонек: поднялся, звякая цепью, твякнул и заскулил.

Чиркая спичками, Сулик нашел место у заднего венца и раскопал.

Вытряхнул из гильзы на ладонь, опустил в карман и уже собрался уходить, когда его окликнули.

Накренившаяся хромая фигура. Висящие вдоль корпуса руки.

– Здравствуй, Сулейман. Закурить есть?

Интернатовское отрочество и три года службы так и не приучили Сулика к табаку.

– Не курю, – ответил он, зная, что за такой ответ получают даже от родителя.

Они постояли, а затем сорокапятилетний старик повернулся к сыну спиной и поковылял в сторону крыльца.

Сулик смотрел вслед, но отца не видел, а видел что-то смутное и неопределенное.

Зрение ему вернул скрип затворившейся двери.

Очнувшись, он положил на крыльцо сверток с пальто, накрыл корытом, чтоб Шарик не разворошил, и поторопился в сторону шоссе, пока местные не оторвали тяжелые головы от набитых соломой тюфяков.

* * *

Сулик сунулся в несколько высших учебных заведений, но ни в одно принят не был.

Год работал подмастерьем на производстве. На следующих вступительных повезло. Утаив от анкеты деятельность отца в годы самой страшной войны в истории, Сулик поступил на химфак.

Увлёкся электролизом, разноцветных проводов оказалось предостаточно. Его завораживало, как под воздействием электричества тот или иной металл покрывает предмет. Цинк ложится на сталь, медь на гипс, золото послушно окутывает любую форму.

Из затюканного деревенского мальчика Сулик превращался в видного молодого человека приятной славянской наружности, что в те года уже становилось редкостью.

Матери писал к праздничным датам, отцу вовсе не писал.

Приобрел вкус к элегантному быту, на танцах познакомился с обладательницей пропорционального лица в обрамлении роскошных волос. Смотрела она желтыми, ярко очерченными глазами. Целовалась тонкими, но страстными губами, которые вкупе с заметным подбородком выдавали волевые свойства натуры. Короткое платье обхватывало скульптурный бюст и вполне изящные бедра. Каблуки возносили ее макушку к его носу.

Она оказалась старше Сулика на три с половиной года и жила с жалующейся на слепоту матерью, военной вдовой, в двух комнатах коммунальной квартиры в одном из кривых центральных переулков.

Стеснительностью подруга нашего героя не отличалась – после второго свидания в кафе-террии пригласила терзаемого дерзкими помышлениями тихоню к себе.

Мать, носившая имя Эстер, временно обрела зрение, и весьма острое.

Разглядев Сулика, крадущегося в одних черных сатиновых трусах из комнаты ее единственной, мимо буфета из массива ценной породы, прямоком в санузел, Эстер учинила скандал.

Отшвырнув влюбленного, она ворвалась к дочери, однако тут же была бесцеремонно выпровожена.

В самый разгар схватки мимо по коридору прошаркала с кастрюлькой обительница третьей комнаты коммунального жилища.

Старушка-доходяга нрав молодой соседки не осуждала, не замечая вокруг себя ничего, кроме ежедневной пищи. Это свойство она, по слухам, приобрела в пору давнего и навечного ареста сына – врага народа.

* * *

Любовная связь долго не продлилась и была прервана по инициативе прелестницы.

Молода, хороша собой, она хотела просто жить.

Если с первыми двумя фактами Сулик был целиком согласен, то третий принять не мог. «Просто жить» означало частые, порой совершенно непредсказуемые связи с мужчинами, многие из которых могли бы сверкать в коллекциях самых знаменитых любительниц этого дела.

Рыночные торговцы, руководящие работники, студенты Консерватории имени Петра Ильича Чайковского и даже дворник ближайшего детсада составляли эклектичный любовный список Суликовой избранницы.

Если бы она брала плату, то разбогатела бы не хуже народной артистки, однако, будучи натурой увлеченной, барыша не извлекала.

Столкнувшись с фактами, Сулик возмутился, затем неожиданно для себя расплакался, из глаз полило, как будто на мотоцикле без очков, и ушел, что называется, в сторону, оставив Эстер наедине с темпераментом единственной ненаглядной.

Учение Сулик закончил с отличием.

Его распределили на столичное предприятие, выделили комнату в общежитии, записали в поликлинику, положили оклад.

В Ягодку он не ездил. На похоронах отца отсутствовал, работа не пустила.

Мать навещалась редко, стеснялась своих калош и платка, надолго не задерживалась.

Когда задор первых трудовых лет в лаборатории, полной реактивов, стеклянных емкостей и разноцветных проводов, прошел... Когда первые грамоты за трудовые успехи перестали греть честолюбие и были сложены в папку с другими рутинными бумагами... Когда самому Сулику стало ясно, что великим ученым он не рожден... Именно в те дни подступающего разочарования и случился в его жизни интересный поворот.

Гуляя в один из майских выходных по опустевшим мостовым, Сулик встретил ту самую, из кривого переулка.

Спросила – как дела?

Ответил – хорошо.

Не женился?

А она замужем.

Сообщив о своем семейном статусе, скорчила знакомую гримаску, означающую мимоленность и ее нынешнего брака, и вообще всего.

Кстати, не поможет ли он ей перевезти небольшой гардероб? Двустворчатый. Подруга разрешила забрать, здесь рядом, у нее и транспорт есть.

И она кокетливо продемонстрировала двухколесную тележку для продуктовых покупок.

Засомневавшись, что тележка увезет на себе шкаф, Сулик, однако, согласился, и вот они уже стояли близко друг к другу на темной площадке третьего этажа незнакомого дома, и она, хихикая, никак не могла попасть ключом в скважину. Он предложил помощь, она отказалась, и между ними завязалась милая кутерьма, которая, впрочем, не помешала проникнуть в квартиру.

Его немного удивила неопрятность проживающей здесь девушки, которая так любезно решила отдать подруге шкаф. Постель была разобрана и даже на расстоянии поражала несвежестью, кухонный стол украшала переполненная пепельница, края умывальника были в брызгах засохшей мыльной пены с темной щетиной. Окончательная ясность наступила, когда Сулик увидел, как его деятельная подруга выгребает на пол содержимое гардероба – сплошь брюки, галстуки и пиджаки.

Попадались и платья, одно Сулик вспомнил. Платья она запихивала в сумку.

Сборы происходили стремительно, и спустя минуту он двигал опустошенный предмет мебели к выходу.

Когда половина шкафа оказалась за порогом, а Сулик, находясь в квартире, выталкивал из нее вторую, послышался шум лифта – и голоса, ее и незнакомый мужской.

Не будем приводить здесь словесный сумбур, который случается между рассорившимися супругами, когда один из них, а точнее, она, тайно съезжает с квартиры, похищая при этом шкаф. Заметим лишь, что Сулик немного разволновался. Он не был нюней, но и наглцом его тоже никак нельзя было назвать, а ситуация сложилась деликатная. Сулик попробовал было дернуть шкаф обратно в тесный коридорчик, освободить себе выход и объясниться с невидимым противником, но она громогласно запретила это делать. Напротив, потребовала продолжить вынос. Тогда Сулик толкнул шкаф вон из квартиры, но встретил сопротивление хозяина, который, видимо, уперся плечом с противоположной стороны.

Неизвестно, сколько бы продолжалось противостояние, если бы не сообразительность затеявшей авантюру красотки. Отчетливо выговаривая слова, с верной долей дрожи в голосе, не слишком громко и не шепотом, она сообщила мужу, что беременна. И отец ребенка не он, а тот, который зажат теперь в коридорчике и может там умереть, так и не увидев своего сына или дочь.

Удивительное действие оказывают на мужчин эти женские выдумки. Какие бы умные и хитрые мужчины ни были, слезы, беременность и прочее подобное, пусть не существующее, а лишь упомянутое, отменяет любые аргументы разума. А если польстить мужчине, намекнуть

на его благородство и к этому благородству легонько подтолкнуть, то самые, казалось бы, невероятные мечты претворяются в жизнь.

На недолгое время воцарилась тишина, которую нарушил ее деликатный призыв.

– Двигай, – сказала она голосом даже немного жертвенным, и Сулик подчинился.

У окна лестничного пролета, живописно облокотившись о перила, стоял импозантный брюнет в импортном кожаном пиджаке. Сразу было ясно: брюнет считает себя красивым мужчиной – и совершенно, надо заметить, заслуженно. Большое гладко выбритое лицо походило на лица с античных монет из музея. Густые итальянские волосы блестели. Сигарета, крепко сидевшая между крупными пальцами, то и дело отправлялась в брезгливо надувшиеся красные губы.

Сулик кивнул.

Курящий отвернулся.

Шкаф вдруг сделался тяжелее, стал цепляться за неровности пола и никак не хотел помещаться в то и дело захлопывающемся лифте.

Сулик потел, испытывая стыд и унижение, но одновременно ощущал себя победителем. Торопясь вниз по лестнице вслед за унесшим груз лифтом, он с каждой ступенью наполнялся уверенностью, что все сложится. И ее рука, которой она, бегущая рядом, сжимала его руку, ее смех эту уверенность укрепляли.

Вопреки его опасениям, шкаф устойчиво встал на тележку. Сгорбившись под ним, Сулик покатил прочь и не увидел, как она в последний раз посмотрела на окно лестничного пролета, от которого в этот момент отвернулся выпустивший последнее облачко монетный брюнет.

И вот Сулик, ставший за несколько лет куда меньшим идеалистом и теперь вступивший в права, уже не крался, а вальяжно шагал по коридору вовсе без всяких трусов, как шагают мужчины, знающие себе цену.

В полумраке гранями резьбы по-прежнему мерцал буфет, старушка-соседка не показывалась, Эстер молча поворачивала ему вслед выкрашенный хной череп. Годы брали свое, и если ее слепые глаза оставались по-прежнему зоркими, то силы были не те.

Новая страсть разгорелась не на шутку. Ее брак в отличие от беременности оказался вполне реальным и потребовал расторжения, которое и было незамедлительно осуществлено. И вскоре в законном статусе в квартиру в кривом переулке заселился Сулик.

На свадьбе приехавшая накануне Катерина, с зачесанной назад сединой, в тесных, только купленных в ГУМе туфлях, сидела прямо, ничего не пила, не ела и на следующий день отбыла восвояси.

Даже в Третьяковку не ходила.

А что ей с офицерской вдовой обсуждать – у той траурная подушечка вся в его орденах, а у нее от мужа только ложка деревянная лагерная.

Когда Сулик сообщил, что женится, она одобрила.

Когда узнала, что на полукровке, сказала, что он уже взрослый и вправе жениться хоть на кошке. Лишь бы по любви.

Самый ценный подарок новобрачным преподнесла соседка – померла.

Резвость ума молодой жены позволила оперативно подать заявление, и скоро в квартире в кривом переулке отмечали вступление в права на третью, освободившуюся комнату.

* * *

Эстер в отличие от своей решительной и дальновидной библейской тезки просуществовала жизнь без умысла и расчета, едва поспевая за эпохой.

Девочкой, когда бойцы одной из множества армий гражданской войны суетливо прикончили ее родителей, она спряталась в чан, в котором ее отец-сапожник варил деготь.

Во времена коллективизации в составе студенческих агитбригад призывала вступать в колхозы, желая земледельцам и животноводам лучшей жизни.

Ни до, ни после она столько не ела – селяне задабривали агитаторов, чуя, что все равно пропадет. Наутро студенты покидали населенные пункты, и, оборачиваясь, она видела, как следом идут армейские отряды, чтобы окончательно закрепить обобществление имущества.

Слыша удаляющийся гвалт, она убеждала себя, что все правильно, что она сама отдала бы стране и муку, и кур, и корову.

Если бы могла.

Но у нее ничего, кроме светленького платяца, не было.

Вскоре встретила на танцах молодого военного. Он ее в столовую пригласил, а кость потом ничейной собаке отдал. И она за него пошла.

Прилепилась.

Дочку родила.

А он стал подниматься по освобожденной репрессиями карьерной лестнице.

Не разоблачал, в исполнение не приводил, просто с рабоче-крестьянским происхождением повезло и нервы крепкие.

Туркменистан, Халхин-Гол, в сентябре тридцать девятого оперативно встали на защиту интересов жителей восточной Польши.

Окрыленный доверчивостью сдавшихся поляков и легко доставшимся королевским городом, он однажды разомлел после ужина и сболтнул.

Мол, впереди такое – учебники истории позавидуют.

Еще годика два-три, и мы рванем.

Ширину нового танка аккурат под европейские дороги подгадали. Гитлер-то дурак, дорог настроил. Недели не пройдет, как мы на Париж наши семидесятишестимиллиметровые наведем. Доставим мировую революцию в буржуйско-фашистское логово.

А поняв, что лишнее брякнул, схватил ее за немного поношенное зеленое платье, которое сам подарил, когда сюда перевели, аж шов под мышкой треснул.

Попробуй только растрепать.

Оба пойдем.

И она.

И в малышку спящую ткнул.

Эти разговоры прекратились двадцать второго числа первого летнего месяца – жен и детей военных едва успели на Урал вывезти. Гитлер, может, и дурак, но мужа Эстер опередил. Через полтора месяца после вторжения немцы загнали остатки их части в болото.

Они держали какой-то пункт, пока боекомплекты не иссякли, потом он, старший по званию из выживших, принял решение.

А карт нет.

Вот и увязли.

Немцы орудия навели, а ответить нечем.

И он выбрался из люка и неловко спрыгнул на мох.

Минувшей весной Эстер затащила его в театр во Львове, актеры громко кричали фразы, принимали позы и делали лица, и когда она в антракте спросила, как ему, он смутился, сказал, неуютно.

И она посмеялась. Мол, завидуешь, что не ты на сцене, не тебе цветущие охапки бросают.

И вот пришел его черед оказаться в центре внимания – животные обитатели леса таращились из зарослей, три неполных экипажа и его механик глядели в спину, а фашистские оккупанты сквозь смотровые прорези – в лоб.

Последние годы он каждый день ждал будущее, а за эти полтора месяца устал ждать. Он рванул будущее к себе, прижал, как тогда Эстер, и стал гнуть будущее под себя.

Он не шурил глаза, не закуривал и не сплевывал, как пристало перед подвигом. Он не хотел повышать голос, уже догадавшись, что война вроде того театра – большая пошлость, и тихо, одними губами, сказал «ура».

И загреб перчаткой, обернувшись.

Будто деток за собой звал.

Мол, покажу кое-чего.

Разминая комбинезонные ноги, он пошел в сторону дрожащих в дизельном мареве германских коробок. И подчиненные, которые сначала решили, что молодой трухнул и собрался руки в гору сделать, прониклись его абсурдным задором, повылезали из машин и пошли за ним – если уж умирать, то не от холодных пуль, а от теплых, пускай вражеских рук.

Немцы хотели сработать из пулеметов, но их командир приказал отставить.

Германского командира захватило. Несвойственный его народу авантюризм, любопытство, скука, которая приходит неотвратимо, если половину лета вместо отпуска дырявишь спины варваров.

Он прятал от подчиненных карту страны, в которую они сунулись. Не хотел, чтобы они видели, сколь ничтожны стрелочки их победных маршей по сравнению с общими размерами тела, которым они пытаются овладеть. Он знал, у них уже появился страх, вызванный необъятностью окружающего пространства. Он хотел вернуть подчиненным осязание жизни и смерти, и этот русский годился в подельники.

И подданный панцерваффе взял на себя риск, дал команду, и его люди нетерпеливо выпрыгивали из родных и постылых железных чрев.

Муж Эстер быстро, не целясь, выпустил все пистолетные заряды, не оставив себе последний, и жал еще на спусковой, издавая губами «бдыщь-бдыщь». Через годы он увидел, как чужие дети, играя, делают точно так же, и очень удивился, откуда дети узнали.

Он бежал вперед, бурча под нос горячие, самые главные, какие знал, слова. Нецензурные названия женских и мужских половых органов. Нецензурные названия любовного соития и гулящей женщины. Вспомнил смешное слово «курошуп», которым мать обзывала бабников. Вспомнил и засмеялся.

Он упал и увидел галочки прошлогодней хвои, изогнутые, как ноги вихлястых танцоров. Увидел исчерченный линиями палый лист. Вспомнил, как Эстер водила пальцем по его ладони, сулила счастье и свершения. Он развернул к себе ладонь, сличил с листом и вскочил на ноги.

В те первые месяцы он еще не научился убивать, действовал устрашающе, но неловко, хорохорился, но торопился скрыться, чтобы избавить и себя, и противника от смерти.

Они были обычными, не героями, которыми позже их объявили потомки, раздавленные жутким величием той войны. Впрочем, один герой все-таки нашелся. Застенчивый башнер. Он тогда подумал, что было бы здорово, если бы его увидела Зойка-соседка или даже сам товарищ главнокомандующий. И башнер действовал с некоторым пижонством, будто позируя несуществующему художнику, и продолжал мечтать даже после того, как неприятельское лезвие навсегда нарушило работу одного из его жизненно важных органов.

А муж Эстер и еще четверо сбежали, продрались, скрылись.

Их не преследовали, победители осматривали трофейные механизмы, а командир, которому так и не удалось сцепиться с предводителем красных, сочинял рапорт.

Да и к чему гоняться за столь незначительной добычей, не преследует же рыбак выскользнувшую из рук мелюзгу.

Не преследует, потому что знает, там, на дне, она не отлежится, не наберет вес, не отрастит клыки, чтобы потом выбраться на берег и разодранной его крючком пастью пожрать и его самого, и его семейство, и дом.

Предполагал ли азартный германец, что необычный противник умрет на больничной койке спустя годы, а его собственный панцерваген уже в ноябре остановит снаряд. Всего в

десятке километров от едва бьющегося, но недостижимого сердца географической туши, которую он себе на погибель растормошил.

А по Европе муж Эстер все-таки прокатился. Париж повидать не пришлось, зато Германию рогом Первого Украинского фронта он хорошенько боднул.

Поначалу он любил свою механическую мощь. Любил давить гусеницами, бабахать орудием, дробить пулеметом, добывать из личного «вальтера». Любил разрушать, превращать человеческое обратно в природу. А ближе к занавесу, когда ему наперерез бежали дети с фаустпатронами, его, краснолицего, уже не пронимало. Разве что один полдень запомнился. Торопились очень – надо было остатки очередной дивизии с громким названием отсечь, а впереди гора.

Красивые у них там виды – открытка. Справа красиво, слева красиво, а впереди эта самая гора.

А в горе туннель, битком набитый гражданскими.

И куда эти немцы перлись с чемоданами и патефонами.

Хоть бы туннели пошире строили, уж больно практичные. Не стоять же из-за них.

А дивизия та сдалась еще до их прибытия. Зря торопились. Организованная нация, главным капитуляцию подписал, и все – никакой самодеятельности.

Потом хотелось, конечно, поговорить, обсудить.

А дома бабы одни, а во дворе ветераны, дружки шахматные, у которых у самих на дне такое, лучше не баламутить. И военный пенсионер бродил по дворам, собирая с помоек вполне пригодное добро, мебелишку, от которой тогда массово избавлялись жители выселяемых под снос домов.

Только однажды лишнюю рюмку себе позволил и про туннель завел при Эстер.

А она сказала, что вечно он за столом о всяких гадостях начинает, тарелки убрала и фигурное катание по центральному телевидению включила.

А больше он никому не рассказывал.

Даже сестре в больнице, где, прицепленный к поплавку капельницы, доверчиво дожидался последнего призыва.

А Эстер жила, выдумав слепоту.

Насмотрелась, хватит.

Еще бы от звуков избавиться.

И память обнулить.

Не надо было тогда на деревни оборачиваться, да что уж теперь.

Смотри, слушай, запоминай и живи.

Со временем покойный супруг стал наносить ей визиты, и она впервые за годы брака и вдовства вела с ним долгие разговоры, скрывая, впрочем, эти встречи от дочери и участкового врача.

* * *

Молодая семья тем временем делала первые шаги на извилистом пути совместной жизни. Потомством обзаводиться не спешили.

Проявив усидчивость, талант и невесть откуда взявшуюся аппаратную ловкость, Сулик вступил в партию, был обласкан научными и профсоюзными руководителями, планировал защиту докторской. Поговаривали, что если не оступится, то со временем вполне может организацию возглавить.

Теперь уже не Сулик, а Сулейман Федорович обзавелся личным автомобилем, дублировкой, а изысканный у предшественника гардероб наполнился его импортными вещами. Кроме того, у него имелся пускай короткий, но постоянно обновляемый список любовниц.

Успехи кружили голову, и он бесстрашно знакомился в столовых, кафетериях и на международных конференциях.

Тут супруга и забеременела.

На третьем месяце процесс, однако, прервался.

Она настояла, и в поликлинику явились вместе.

Доктор спросил про аборты.

Не моргнув туманным персидским глазом, благоверная Сулеймана Федоровича назвала круглую цифру двадцать.

Доктор постучал по столу самопишущей ручкой, закрыл медицинскую карту пациентки и посоветовал не оставлять попыток.

Сулейман Федорович понял, что не знает о своей жене ничего.

Знает имя, тело, с биографией вроде знаком. Характер ее был ему известен и в целом предсказуем, но эти двадцать абортов перечеркнули все.

Весь его собственно нажитый и полученный в приданое налаженный быт с машиной, дубленкой, масляной живописью на стенах, буфетом в коридоре и Эстер в комнате осыпался от одного только слова «двадцать».

Это все до меня? Или уже при мне? Или при мне только десять? Она что, мне изменяла?! – удивился Сулейман.

Осознание жениной неверности ударило так же ярко, ослепило на миг, как когда-то ослепил блеск германского зуба, как блеск жести на углу барака.

И все в Сулеймане прекратилось.

Обеденный перерыв, которым они оба воспользовались для визита к врачу, закончился.

Она вернулась на службу, он пошел домой.

Пройдя мимо двери тещи, за которой та, как обычно, вела разговор с невидимым собеседником, Сулейман взялся за дело.

Все у нее подсчитано.

Сколько, с кем.

Наверняка письма хранит, записочки.

А чего он хотел? Будто не ясно было, с кем связывается.

Сначала он вынимал и складывал аккуратно, потом принялся бросать как попало.

Духи, блузки, чулки кружевные, лифчик розовый игривый с прозрачными чашечками.

Так это он сам ей купил по случаю.

Разворошив шкафы, рассыпав на кухне крупу, скинув с полок книги, разбушевавшийся Сулейман ничего бросающего тень не обнаружил. Только Эстер напугал – она, приняв происходящее за давний обыск, погубивший родителей, принялась издавать истошные звуки.

Когда ключ жены повернулся в замке, муж сидел на полу, обхватив голову руками, не зная, куда деться от воя старухи.

– Что здесь происходит? – поинтересовалась вошедшая голосом психиатра.

– С кем? – спросил Сулейман, непоправимо страдая от ее подлинного, выдержанного в бочке семи лет семейной жизни спокойствия и собственного, бултыхающегося внутри, бешенства.

Один с работы.

На вечере у Ларисы с ее знакомым.

Игорь из твоей лаборатории.

В санатории с двумя военными...

Она охотно загибала перчаточные фаланги, заведя по-детски глаза к потолку. Коричневая кожа поскрипывала.

– А ребенка я сама убрала. Чтобы тебя не обманывать. Чтобы ты чужого не растил.

В ее недрогнувшем голосе, в спокойствии не было гнева, мстительности, истерики, от нее исходило пережитое, продуманное, и это Сулеймана изничтожало.

– Ты, сука! – крикнул он патетически, осознавая нелепость и своих слов, и своей злобы, и всего себя целиком.

Она стянула перчатки, похлопала ими о ладонь и сказала, что сама наведет порядок, а он пусть котлеты ставит – ужинать пора.

И пока Сулейман, погрузившись в полузабытье, переворачивал подгорающие мясные комки, пока хрустел тапками по рассыпанной гречке, пока она собирала с паркета шерсть, шелк и крепдешин, с ним случилось не озарение, нет, но что-то на него снизошло.

Что часто снисходит на людей, ищущих и живых, когда возраст катится к сорока.

Сулейман Федорович понял – он неправильно живет жизнь.

На следующий день это не покинуло Сулеймана Федоровича, а, напротив, окрепло.

Он стал молчалив, любовниц забросил, на работе сделался рассеян, разноцветные про- вода и научные достижения больше его не тешили.

Он увидел всю беспорядочную карьерно-стяжательную суету, в которую сам себя вверх, и зрелище это его поразило.

Вскоре, продвигаясь по маршруту работа-дом, он остановился у церкви.

Запах лекарств, прохлады и пустота.

Ступая под разрисованными сводами, от свечницы до соли и обратно, он что-то припо- минал и бубнил сам себе.

Хаотично мечущиеся в голове мысли образовали отчетливый узор. Он решил произвести генеральную уборку, расставить все по местам, а в помощники призвал Бога – в отдаленном от центрального района храме Сулейман Федорович принял крещение и обрел имя в честь святителя Василия Кесарийского.

Факт крещения, осуществленного согласно закону по предъявлении паспорта, в скором времени стал известен в первом отделе.

Одно дело здоровый карьеризм и краткосрочные романчики, другое – православный гос- подь.

Тут и папаша-предатель с анкетного дна всплыл.

И новый христианин подвергся гонениям – его исключили из партии, а затем уволили. Впрочем, именно за такую последовательность этих двух карательных мер никто не поручится. Может, сначала уволили, а потом исключили. А вернее, что одновременно.

Могли бы, кстати, из очереди на квартиру вычеркнуть, если бы Сулейман Федорович в таковой состоял.

И тогда он открылся жене.

Не из страха перед неясными перспективами дальнейшей жизни и заработка, хотя и поэтому тоже, а ради возможного для них двоих духовного спасения.

Жена, с которой жил рядом, но как бы на бесконечно далеком расстоянии, бок о бок, но избегая прикосновений, не удивилась. Будучи внимательным наблюдателем, она давно заме- тила в муже накопление критической массы и выбор его приняла. Да и вообще, она за него в свое время пошла не потому, что шкаф помог приволочь, а потому что предчувствовала – с этим не соскучишься, что-нибудь да выкинет. А еще потому что хрен здоровый.

Преображенный Сулейман принялся подрабатывать: подвозил поздних гуляк, ремонти- ровал радиоаппаратуру, мог и позолотить, если надо, любой предмет, хоть ложку, хоть брас- летик.

Соорудив дома простое устройство, он путем электролиза вполне удовлетворял частные потребности в позолоте.

Жили этим и ее зарплатой, которая, впрочем, скоро прекратилась – она последовала его примеру, приняла крещение и лишилась места.

Освободившееся время она теперь уделяла престарелой матери и домашнему уюту. Строго соблюдала посты, в чем контролировала и мужа. Склонный к хаотичному разговению, он вполне мог налопаться «докторской» прямо перед Сочельником.

* * *

В одиночестве новообращенная пара не осталась – многие тогда начинали почитать Евангелие, похаживать в церковь и помаливаться Богу. Тайные кружки обеспечивали досуг. На собраниях читали вслух Писание, смотрели слайды из жизни Спасителя, пели псалмы и обменивались фотографиями семьи последнего императора. В те бедные глянцевыми фотосессиями времена эти благообразные лики вызвали светлое умиление.

Обретенная вера не мешала супругам продолжать попытки, одна из которых завершилась зачатием. Будущей матери шел пятый десяток.

Доктора констатировали благополучное вынашивание, но роды обещали нервные – возраст, а кроме того двойня.

Прогнозы сбылись – во время схваток акушер сообщил покрытой испариной, хрипящей проклятия и молитвы роженице, что обоим спасти не удастся, и предложил выбрать.

Видимо, он испытывал несвойственное волнение и не подумал о нереализуемости своего предложения и некотором даже издевательском его тоне.

Хапая воздух ртом, она передала право выбора ему, и он оставил девочку, хотя вторая тоже была девочка, но она ему не приглянулась, впрочем, он и не вглядывался.

Вернувшись со смены рано утром, акушер выпил не обычную свою рюмку, а все оставшиеся в бутылке полтора граненых, и сын, поднявшийся в школу, его застучал. В конечном счете, он никого не выбирал, просто пуповины перепутались, и сестренка задушила сестренку, а он только извлек трехкилограммовую победительницу утробного противостояния.

Назвали Верой.

После родов мать прежнюю форму так и не обрела.

Не телом, но душой.

С телом все было в порядке, а вот непрошибаемый, казалось, рассудок пошатнулся.

Она винила новорожденную в гибели сестрички, не брала на руки, отказывалась даже видеть, не то что давать прикладываться к одной из своих прелестных грудей.

В роддоме Вера питалась родовитой таджичкой с неправильным положением плода, которую муж привез рожать под присмотром центровых врачей и чья беременность в итоге разрешилась благополучно.

Та молоком исходила и с радостью сжеживала излишки в орущую Верину глотку.

Жена Сулеймана-Василия была твердо уверена – перед ней маленькая убийца, лишившая ее дочери, которая наверняка была бы красивее, ласковее, умнее. Как только не пытался молодой отец убедить ее в несостоятельности претензий, каких только евангельских притч не приводил.

После нескольких лет взвинченной жизни Сулейман-Василий не придумал ничего лучше, как предпринять еще одну попытку.

Новый ребенок должен был избавить жену от душевных страданий, а дочь от несправедливых нападков.

Поистине животная, от праматери Сары доставшаяся фертильность позволила слабо сопротивляющейся супруге зачать года за четыре до полувекового юбилея.

Вере исполнилось пять, и появление у мамы живота волновало.

Мама перестала тиранить.

Мама как бы заснула.

Однажды живот совсем вырос, мама ахнула и сосредоточилась.

А папа забегал.

И стал звонить по телефону.

Потом они уехали, попросив соседку присмотреть за Эстер и Верой.

В ту ночь Вера спала урывками. Задремывала и просыпалась от непривычной духоты.

Отец вернулся рано, Вера вскочила с кровати и выбежала в коридор. Отец выглядел так, будто на него взвалили рояль. В прошлом году на третий этаж привезли старый «беккер», Вера видела, как мужики корячились на лестнице.

Соседка поинтересовалась, хотя и без всяких вопросов было ясно.

Мама отсутствовала до воскресенья, а когда вернулась, лицо ее было размазанным, а живот пропал.

Подружка в детском саду стала спрашивать.

Вера сказала, что все хорошо.

Как назвали?

Верочкой.

Так не бывает.

Бывает.

Подружка наябедничала воспитательнице. Вера врет.

Вера продолжала настаивать, что новорожденную зовут так же, как и ее, и от нее отстали.

Воспитательница не видела причин сомневаться в словах девочки. Кто их знает, этих религиозных. Вера сама поверила в сестру, переименовала в ее честь куклу.

Детсад располагался во дворе, Вера ходила туда одна. Недели через две, вечером, после смены, когда она, зашнуровав ботиночки, надела пальтишко и, поздоровавшись с умиленными ее самостоятельностью чужими взрослыми, потянула дверь, та вдруг сильно подалась на нее, обнаружив за собой мать, неожиданно решившую встретить дочурку.

Вера хотела было поскорее мать увести, но воспитательница прицепилась с доброжелательными назойливыми расспросами.

Что да как. Поздравляю. Как самочувствие маленькой?

Не поняв сначала и осознав наконец суть подлога, мать принялась хлестать Веру по лицу теми самыми скрипучими коричневыми перчатками. Поволокла ревущую дочь за собой, толкнула дорогой в сугроб и предъявила дома едва живой.

Сулейман-Василий выслушал бессвязные вопли супруги, заглушаемые ревом дочери, и попытался успокоить обеих валерьянкой и словами о прощении и милосердии.

Вскоре пришлось прибегнуть к ежедневному подмешиванию в еду и напитки жены сильного успокоительного, выписанного знакомым врачом из числа тайных христиан.

* * *

Вопреки седативному действию препарата те сонные черно-белые времена проходили для Веры бурно.

Если раньше мать винила ее в смерти, едва ли не в убийстве сестры, то теперь вся ее апатия и тоска переработались в невиданную злобу. Вера оказалась не только убийцей, но и больной, неуравновешенной, требующей лечения, мерзавкой и лгуньей.

Осенью, когда она вернулась из Ягодки, где проводила лето под присмотром состарившейся Катерины, матери втемяшилось, что дочь выбелила волосы. Сколько бы та ни уверяла, что кудряшки выгорели на солнце, мать не унималась.

Разразился скандал, в котором невольно принял участие и Сулейман-Василий.

Как любой по природе спокойный и выдержанный, он неожиданно проявил себя сумбурным разрушителем – схватил Веру за косички и под назидательное одобрение вконец обезумевшей супруги откромсал под корень.

О своих действиях он тотчас пожалел и позже вспоминал с отвращением. А Вера с того дня стала очень бояться отцовского гнева и вместе с тем, сама того не понимая, нуждалась в нем. Впервые ей явился Бог – беспощадный, иррациональный, настоящий.

Несколько последующих годов, под предлогом спасения малышки от пагубного украшения самой себя, а заодно предупреждая опасность завшиветь, мать перед наступлением лета остригала Веру под ежика.

А волосы продавала на парики.

В такие дни приходила краснощекая жирная баба, сгребала пряди в мешочек и приговаривала:

– Хорошие волосы.

Волосы и в самом деле были хороши. Прямо как у матери, цвета перезревших зерновых, только у той с первыми родами потемнели. Забрала Вера у матери цвет.

В редкие моменты пробуждения инстинкта мать, укладывая Веру спать, рассказывала сказки.

Они имели сюжет весьма произвольный, но обладали одной неотъемлемой деталью – за стенами устроены тайные ходы и целые комнаты, в которых прячутся соглядатаи, днем и ночью они блюдут, дурное пресекают, а за добропорядочных граждан вступаются.

В вопросах веры мать проявляла поистине иудейский фанатизм. Октябратский значок, знак сатаны, носить запрещала. Вступить в детскую организацию дочери не позволила, но Вера, скопив копейки, купила себе звездочку и тайно надевала, снося насмешки одноклассников.

Звезду с вьетнамской целебной мази, приобретшей в те годы большую популярность, мать тоже не терпела и соскребала, хоть та была и желтой. Крестообразную решетку слива в ванной выпилила, точнее, заставила мужа выпилить. Чтобы мыльная вода не оскверняла крест.

Сулейман-Василий, напротив, отличался мягкостью нрава и к маниакальному следованию догмам склонен не был. Если Вера уставала стоять службу, вел ее гулять, благо никто не препятствовал – супруга, ссылаясь на духоту, богослужения посещала редко. Это не мешало ей требовать отказа от празднования Нового года. К счастью, удалось найти компромисс – елку ставили к Рождеству, заполучая совершенно бесплатно. Сразу после первого числа Сулейман-Василий с Верой обходили ближайшие помойки, куда самые торопливые отпраздновавшие выносили попользованных, но все еще пригодных лесных красавиц.

Несмотря на столь экстравагантную окружающую атмосферу, Вера росла девочкой бойкой и любознательной. Маленькой любила вскочить на какого-нибудь дядю и требовать катания. Воцерковленные университетские умники, члены художественных союзов, докладчики и священники из далеких углов империи, немногочисленные, сбившиеся в кучу подпольные верующие того времени, воссоединяющиеся на тайных собраниях, не отказывали Вере. Они напяливали ее на свои жирные и тощие шеи и послушно скакали, предусмотрительно огибая люстры, чтобы не снести плафоном прелестную белобрысую головку.

Эта белобрысость подкупала и пленяла. Чернавок вокруг хватало, а вот деток-ангелков становилось все меньше. Веру же тянуло к противоположностям. Негры с головами-одуванами, бровастые грузины, высовывающие носы из-за плодоовощных рыночных груд. Эти обязательно преподносили фруктик, и мать, хоть со странностями, всегда брала дочку на рынок, что позволяло отовариться, почти не раскрывая кошелек.

Вера картавила.

Как тебя зовут?

Велочка.

Долго и безуспешно водили к логопеду.

«Л-л-л-л-л, л-л-л-л», – рычала Вера.

С тех пор во всем русском языке больше всего слов она знала из тех, что содержат рык.

Когда специалист готов был махнуть рукой, Вера, обнаружившая в ходе занятий недетское вовсе упорство, вдруг издала громовое рычание.

Логопед, задремавший было, очнулся и потребовал повторить.

И Вера в самое его дипломированное лицо зарычала и еще долго рычала на все лады, пока не вышло положенное время.

Логопед так рад был этой неожиданной уже победе, что позволил себе, впервые за тридцать с лишним лет практики, шалость – подговорил ребенка не рассказывать сразу маме, а вечером устроить обоим родителям сюрприз, громко произнеся за столом:

– Сюрприз!

Вера, однако, и за ужином тайну не раскрыла. Дождавшись, когда родители заснут, пробралась мимо выдавшего вида буфета в их комнату, прислушалась к дыханию и завопила: «Сюр-р-р-р-пл-л-л-из!»

Супруги вскочили в ужасе и, узнав, что не случилось ничего особенного, кроме того что восемнадцатая буква алфавита наконец покорена, успокоились и даже не очень удивились, чем немного Веру разочаровали.

Она еще долго не могла уснуть, слыша доносящуюся сквозь стенку смутную возню, которую старики на радостях затеяли. Сюрприз взбудоражил инстинкты, и только комочек, нащупанный мужем на левой груди жены, омрачил ночь.

Вскоре подтвердилось, что неумная в чувствах дочь Эстер и танкиста смертна. И года не прошло, как ее похоронили, причем только с одной, а именно с правой, из двух вызывавших некогда многочисленные восторги, округлостей.

* * *

Бойкие особы под предлогом помощи по хозяйству стали стремиться в дом овдовевшего Сулеймана-Василия. Помогали с Эстер, подлизывались к Вере.

Он поползновения распознавал и пресекал. Мягко, но безоговорочно. Ссылался на неостывшее тело жены и ее светлую память, которая с каждой новой претенденткой делалась светлее.

Насытившись семейной жизнью вдоволь, он решил посвятить себя дочери и духовному росту.

Замершее благополучие эпохи проломилось под колесом времени, которое быстро прокрутило двух престарелых правителей и стало вертеться все быстрее, перемалывая отдельных людей и целые народы, разрушая государства и планы на отдых.

Устои распатались, и многие, весьма крамольные еще недавно вещи сделались повседневными и рутинными.

Сулейман-Василий помогал в нескольких церквях по хозяйству, а в одной четырехглавой, запутавшейся в узоре китайгородских переулков, даже прислуживал алтарником.

На добровольной основе он распространял литературу, проявив себя талантливым агитатором. Многие потухшие атеистические сердца запылали жаром веры. А скольких инородцев обратил, скольких сынов Авраама и Якова, скольких дочерей Юдифи, кроме своей зарегистрированной, на истинный путь направил, отвлек от дезертирства на землю далеких предков. Сколькие, которые во тьме могли бы плутать, через него к вере пришли. Для скольких душ его трудами врата небесные разверзлись.

Он стал чаще бывать в Ягодке.

Катерина усохла, изба просела.

Он ходил по местности, здороваясь с редкими старухами, чьи потомки разъехались по крупным и комфортабельным населенным пунктам и не являлись в отпуск.

В застойные социалистические времена в Ягодке затеяли возводить ферму для крупного рогатого. Колокольню приспособили под водокачку, и теперь она целилась в небеса дулом надстроенного бетонного цилиндра.

Финансирование сначала сделалось пунктирным, а затем прекратилось. Строительство бросили, ангары для буренок так и остались незаселенными, а водокачку успели запустить, и на огородах появилась невиданная вещь – шланги для полива. Провести водопровод прямо в избу никто не решался, одна только Катерина потребовала. Ее подвергли общественному осуждению за попрание устоев, но скоро появились смельчаки, следовавшие ее примеру, и струйки, полившиеся из кранов, смыли старину.

Мотор тянул исправно, но трубы нуждались в ремонте. Колокольня вся сочилась. Летом окружала себя болотцем, зимой – ледяными буграми.

Кладбище расширилось, приютив многих, кто не успел съехать в город. Последнее пополнение оно получило за счет двух местных срочников, вернувшихся из Афганистана в герметично запаянных пеналах.

Вместо сестренки Раечки и папаши торчал сварной голубой крестик. На месте ямы, куда свалили партизан, – пирамидка со звездочкой. Германские похоронные следы стерлись и не определялись даже внимательным взглядом опытного аборигена. Один точеный каменный фёрзь, поставленный в тысяча восемьсот сорок восьмом году на грудь строителю церкви, надворному советнику, стоял незыблемо.

Сулейман-Василий подолгу находился в церкви, которая стала совсем как выброшенный на берег, выеденный чайками кит.

Остов и оконные дыры.

Замазанные, проглядывающие из-под облезавших слоев, скорее дорисованные воображением, чем существующие взаправду, евангельские лики проступали на сводах. Апостол Матфей пророс угнездившимся на крыше деревцем, мочалки корней свисали из его рта и носогубных складок. В цветастом, старинной плиткой выложенном полу зияли пробоины – результаты кладоискательства. В углах чернели следы костров. Стены покрывали любовно-оскорбительные надписи. Ласточки рассекали кубометры пространства, ныряя в окна и прорехи. Клочковатая собака с мордой, точно в чернила окунутой, с похотливой настойчивостью терлась о ногу.

После самой страшной войны церковь некоторое время стояла заброшенной, потом в ней устроили клуб и показывали кино, но дело само собой заглохло, кто-то однажды сорвал замок, и с тех пор культовое сооружение служило пристанищем ночным гулякам. Сулейману-Василию не было обидно за оскверненный храм. Он радовался за молодежь, осуществляющую свидания в романтических руинах. Но стремление к порядку не давало покоя.

Кроме того, он испытывал перед Ягодкой что-то вроде вины, которую порой испытывают думающие русские горожане перед всей остальной необустроенной Россией. У него вон горячая вода и поликлиника под боком, а здесь дома гниют, жители разъехались, церковь доживает. Он ощутил прилив сил и тягу к пусть умеренному, но самопожертвованию.

Испросив разрешение у задобренного единоразовым взносом главы сельсовета, выбив благословение епархии, Сулейман-Василий купил у военкома списанный «козлик» и принялся разъезжать по окрестностям.

Призывал к пожертвованиям немногих местных кооператоров, ларечников, редких фермеров, сельских рэкетиров и чиновников.

Чтобы воздействовать на несимпатичных с виду, но почти наверняка прекрасных где-то глубоко внутри деловых людей, Сулейман-Василий возил с собой дочь.

Вера была очень хороша в своей юности. Она быстро вымахала, в классе считалась дылдой, взрослые заглядывались на ее ноги. Возвышенное сочеталось в ней с натуральным, кудри, которые теперь некому было обкорнать, лежали пышным стогом, а глаза были вовсе особен-

ными. Контурам матушкины ближневосточные, а цветом то серебряные, как ивовая листва, то черные, как гладь с кувшинками, и догадаться, что там бродит, совершенно невозможно.

Пожертвования потекли мелеющим, звякающим медными монетками ручейком. Новые купцы, даже те, которые долго потом покачивали головами и причмокивали, вспоминая дочку реставратора, щедростью не отличались. Расставались с наличными неохотно, не упуская случая поучить просителя жизни. Шутили, как бы он их грошики не подтырил, и проявляли неприятную хамоватость, свойственную совершившим благое дело.

Дети сторонились, бабы шептались, две старухи, которые все прочее время спорили, которая была лучшей дояркой, жевали вслед:

– Полицая сын. Сулик. Нейметса ему.

Единственный мужик, бывший председатель Брыкин, когда-то прославивший Ягодку появлением своего портрета в районной газете на полосе пьяниц, увидев Сулеймана-Василия с лопатой, посоветовал копать глубже. Говорят, где-то тут барин зарыл изумруды и бриллианты.

Сулейман-Василий скоро ощутил себя очередным оккупантом – вроде сопротивления особенного не встречаешь, но и поддержки никакой, одно бездорожье, воровство и тугодумие.

И он стал выносить из дома вещи.

Точнее говоря, продал две чрезвычайно темные картины вывезенные еще танкистом из Лейпцига в качестве репарации.

Разглядеть на них все равно ничего было невозможно. Танкист потому и взял – с одной стороны, живопись, с другой – что нарисовано, непонятно, и глаз не устает.

В свое время Эстер эти картины берегла. Одну в их с мужем комнате повесила, а две другие у дочери по сторонам пустого книжного шкафа, который скоро заполнили наштампованными в те годы томами. Вера, когда склонность к чтению ощутила и полезла в шкаф, с удивлением обнаружила, что страницы с типографских времен не разрезаны. Никто книг прежде не касался, и они распахивались, хрустя и распространяя надрывный аромат типографского клея и передержанной прелести. Книги были стары и нетронуты, как бутоны нераспустившихся цветов. Вера помыла руки с мылом и больше шкаф не открывала.

Одно из трех полотен, висевшее по левую сторону книжного гарема, потерялось из виду давно, это было самое светлое произведение. Степень его светлоты была такова, что внимательный осмотр при включенной люстре позволял угадать в пятнах и очертаниях коленапреклоненного монаха – видимо, святого, воздающего молитву кому-то в правом верхнем углу, как будто на дереве.

Впрочем, наличие дерева ни раньше, ни тем более теперь подтвердить нельзя. Что бы ни поддерживало того, в правом верхнем углу, это был святой явно поважнее монаха. Может, и женщина. Возможно, Мария, которую вознесла на ветви сила Святого Духа.

Много лет назад, когда овдовевшая Эстер впервые объявила, что плохо видит и просит еду в постель, дочь уважила и принялась ухаживать, однако, заметив вскоре, что, кроме просмотров по телевизору фигурного катания, мать еще и кроссворды разгадывает, заботу прекратила.

Вымышленную же слепоту дочь решила монетизировать – стала таскать из квартиры ценные предметы.

Путь в комиссионку проторила сломанная лампа в виде неудобно изогнувшейся девушки, а вскоре исчезла и картина с коленапреклоненным монахом и таинственной особой в кроне.

Пропажу Эстер отметила скандалом. Сначала она подумала на соседку-доходягу, потом на сантехника, а потом все поняла.

Требовала вернуть, грозила участковым. Когда, немного остыв, спросила, на что дочери такие деньги, она была уверена, что за картину и лампу можно выручить тысячи, что, кстати, оказалось сушей правдой, ответ поразил простотой.

– На мужиков, – отрезала юная красавица. – На Ялту, на шампанское и на хороших мужиков.

Другая бы устраивала так, чтобы за нее платили, но этой была свойственна самостоятельность и даже некоторая склонность к меценатству.

Не испытывая угрызений, будущая мать Веры отправилась спускать вырученное, купив заодно для мамы валерьянки и «Наполеон».

С тех пор вдова в дела квартирной собственности не вмешивалась. Наследница же, несмотря на свою дерзость и прыть, обороты сбавила и больше отчий дом не расхищала.

Теперь Сулейман-Василий после долгих размышлений испросил разрешения у Эстер. Она в момент его вопроса беседовала с комодом, но зять был педант. Впрочем, она не протестовала.

Он обсудил с Верой, та кивнула, не отрываясь от телефонного разговора с подружкой.

И он отнес два сохранившихся холста антиквару.

Перекупщик долго всматривался в живописный мрак, за последние годы только сгустившийся. Сулейману показалось, что холсты приняли в себя грехи всех своих владельцев.

Пожевав бороду, антиквар выложил довольно приличную сумму, сам до конца не понимая, зачем ему это, без всяких сомнений, подлинное, но совершенно бессмысленное приобретение.

Вырученного должно было хватить на крышу, закладку проломов и застекление окон. Накупив материалов, Сулейман-Василий взялся за дело. Своим порывом он собирался заразить дремлющих до поры подвижников, в первую очередь Брыкина.

То было счастливое время, летом вся семья: мать, теща и дочь жили в его родной избе. Сулейман-Василий мечтал, что однажды наступит день, и он навсегда вернется в Ягодку. Очистит и нарядит церковь, подыщет ей батюшку, как жениха для дочери подыскивают, и тот станет приобщать доживающих старух и Брыкина, а через них наезжающих родственников. И так вся Россия, деревня за деревней, церковь за церковью.

Вера испытывала другое. Томимая подростковыми переживаниями, она бродила среди трав и стволов. Катерина, привыкшая к одиночеству и не особенно жаловавшая гостей, занималась огородом, а Эстер подолгу лежала на кровати, тяжело вздыхала и громко пукала. К тому времени она окончательно переселилась во внутренний мир, Веру и зятя принимала то за мужа и дочь, то еще за кого-то, им неизвестного, времена и люди смешались, и одно лишь не изменило ей – зрение.

Именно благодаря зрению она, не бравшая в жизни чужого, обкрадываемая собственной дочерью, а по ее следам, пусть в благих целях, еще и зятем, совершила воровство – похитила первый созревший помидор.

Урожай был хороший, ветки прогибались под весом плодов, но первый, набирающий цвет помидор волновал особенно.

Вера, Катерина и даже Сулейман-Василий каждое утро проводывали парник, где любовались наливающимися красными боками, и каково же было удивление этих терпеливых созерцателей, когда в одно прекрасное утро помидор исчез.

Чуть в стороне смотрела вдаль дожевывающая Эстер.

* * *

Зимой, вскоре после Сретения, Сулейман-Василий получил телеграмму, известившую о Катериной кончине.

Никаких свойственных горожанам параличей, продолжительных, требующих госпитализации и сложных процедур недугов. Умерла по-деревенски: вымыла полы, сходила в баню, оделась в чистое, легла – и до свидания.

Два дня дым из трубы не валил, соседка заметила, удостоверилась и Сулеймана известила.

Непоэтичное дело зимние похороны. Никаких поросших васильками пригорков и пения птах. Топчешься на краю земляной дыры, смотришь на срез – плодородный слой, осколки, пучки корней, красная глина, утираешь помороженный нос и думаешь, как бы не поскользнуться на утоптанном снегу и вслед за покойником не сверзиться. Русская зимняя природа не оставляет места фантазиям. Вот она яма, и вот, собственно, все.

Не пожелавшая отставать Эстер вскоре последовала за родственницей. Склонный к обобщениям мыслитель сказал бы, что уходит поколение.

Летом Сулейман-Василий продолжил работы в церкви, в которых, поартачившись, постоянно сквернословя и поминая свой атеизм, согласился участвовать за плату и Брыкин. Вера была рядом.

По причине каникул в Ягодке собралась молодежь. Девки и парни слонялись по бывшей Кайзер штрассе, нынешней Ленина, от поля до церкви и обратно. Шаркали большими, не по размеру, сапогами, роняя семечковую шелуху и опустошенную винную тару, накинув на плечи телогрейки, которые в те годы не только в городах-миллионниках, но и в сельской местности сделались символом нонконформизма и раскрепощенности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.